

Александр Левитов

Моя фамилия



Александр Иванович Левитов

Моя фамилия

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=657425

Сочинения: Худож. лит.; М.: 1977

Аннотация

«Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлой радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которой наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица...»

Содержание

I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	13

**Александр
Иванович Левитов**
Моя фамилия
*(Из воспоминаний
временнообязанного)*¹

*Яблочко из-под яблоньки
далеко не катится.
Сельская пословица*

I

Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлую радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица. Слушаю и смотрю, как при воспоминании об этих род-

ственных образах добрая радость рассказчиков сменяется какою-то тихой, исполненной невыразимой любви печалью и как они, наконец, забывши в эти моменты свой солидный возраст, с совершенно детской наивностью начинают страстно желать возврата и своего детства, и тех дорогих людей, которые некогда лелеяли их, но которые тем не менее в данную минуту бесповоротно жительствоуют в тайном и никогда не выдающем своих обитателей царстве смерти.

Зная этот роковой закон темного царства – никогда не давать глазам своих обитателей любоваться на светлое солнце, – душа моя с злою, молчаливою радостью таким образом отвечает желаниям счастливцев – посмотреть такого-то, обняться и поплакать с таким-то:

«Не-ет! Погоди! Не так-то скоро, как ты хочешь, он к тебе явится оттуда. Разве уж сам к нему туда потрудишься спешествовать...»

Грудь моя наполняется при этой безмолвной думе злым смехом, колыхающим ее до того сильно, что из глубины ее слышатся какие-то ужасающе грозные урчания...

Без малейшего смущения сознаюсь, что эти звериные урчания производят в моей груди зависть к чужому счастью, и так как заведено – завистливого человека всегда осуждать и чураться, и так как заведено еще и то, что и осужденные, в свою очередь, обыкновенно стараются оправдать себя, то я, в силу этих двух вековых обычаев, говорю: я не желаю повторения моего детства, если бы даже это было возможно, –

никогда не назову его ни золотым, ни даже железным, потому что и железо все-таки капитал, – не хочу пожелать, даже стоя на краю гибели, чтобы из царства вечного покоя и мира, куда отец небесный призывает всех труждающихся и обремененных, пришли ко мне для моего спасения от этой гибели люди, некогда любившие меня точно так же, как были любимы счастливцы, которым я теперь так завидую.

Да! я не хочу ни того, ни другого, ни третьего, потому что, начиная оправдание моей злости и зависти людскому счастью, я говорю: вот какое было мое детство и вот каковы были люди, обязанные природой приготовить его к верному хождению по широким и шумным дорогам жизни.

В конце двадцатых годов по широким степям великороссийских губерний летала такая злая зима, какой никто из старожилов ни разу не видал в своей жизни. Голодом и холодом покрывала она печальные деревни и села, хоронила в снежных сугробах длинные обозы, обрывала соломенные крыши с убогих мужицких изб, заваливала дороги и реки, валила с могучих ног дремучие леса...

В заметенных снежными сугробами избах, при свете длинной лучины, заговорили:

– Должно, родился антихрист?

– Надо полагать, что так. У меня в эту метель-то двух лошадей с двора согнали, – теперь совсем обезножил. Боже, царь мой небесный, что я теперь буду делать?..

– Нет, я что слышал: говорят, уж он родился давно, и

от роду ему теперича семь годов. Руки у него уж и теперь по семи аршин каждая, и когти на них железные по семи четвертей. Большое терзание людям от тех когтей выйдет, а? Как полагаешь?

– Известно! Одно слово – антихрист...

В нашей дворовой избе говорили в эту зиму почти то же, только антихрист в фантазиях дворовых грамотеев рисовался еще страшнее.

«И придет он аки тать в нощи, – распевали по вечерам седые грамотеи, – в предшествии мрака и бури, коей ни единое существо не воспротивится, придет с злым смехом и паскудным глумлением над христианскими душами, и возмнит он обратить те христианские души в свою антихристову веру, и примется острые иглы втыкать в ногти человеческие для того, дабы совратить...»

– Ох, дедушка! – толковали наши бабочки. – Что это ты к ночи-то распечалился, – смерть! Перестань, Христа ради!

Поистине, всякий человек мог бы ополоуметь от тоски, слушая эти рассказы, если бы их не разнообразили разговоры молодежи про разные зимние деревенские удовольствия.

– Ах, жаль! – скучает, бывало, какой-нибудь дворовый удалец в дубленом полушубке и с блестящей серьгой в одном ухе. – Ах, право, очень я жалею, как метели эти мешают на кулачки срезаться. Почитай вся зима прошла, а у нас ни одного еще бою как следует не было...

– Так, так! – соглашается другой, точно такой же моло-

дец. – Хорошего в этих метелях ничего нет. Ах! Прошлой-то зимой колотились чудесно!..

И тут начинались нескончаемые воспоминания про чудесные бои прошлой зимы. Вся дворня мотивировала их на разные лады, восторженно хвастаясь друг перед другом разного рода счастливыми случайностями, дававшими некогда всем этим милым друзьям полную возможность кровянить друг друга как нельзя быть лучше.

Сидел я на задней лавке, около громадной и мрачной печки, и с несказанным наслаждением прислушивался к этим воинственным эпопеям, к которым от века питает такую жаркую дружбу широкий русский молодец, за незнанием другого, более мирного и полезного дела. Я прислушивался к ним тем с большею жадностью, что главный герой всех этих дворовых сказаний был отец мой.

Это был красивый молодец, высокий, стройный и смуглый. Когда он кидался, бывало, в самую огневую схватку кулачного боя, так закорузлые полушубки попадавших на его первый кулак мужиков рвались, как паутина, а медные пуговицы, которыми обыкновенно застегиваются эти полушубки, словно пуля врезывались в тело, производя раны, увечья и всех возможных родов бесчувствия, дававшие всем этим грустным деревенским избам поводы к различным веселым разговорам, которые, за неимением лучшего, все-таки сокращали долгую, угрюмую и до злости холодную сельскую ночь...

До страсти я любил слушать рассказы про отцовскую силу.

– Ферапонту-то запрещено ведь, ха? – слышится мне радостный голос какого-нибудь Петрухи, лихого бойца, но с которым тем не менее отец мой бьется одной рукой и побивает. – Ей-богу, ему запретили на бой выходить, – С полным счастьем смеется Петруха и, в свидетельство достоверности своего показания, усердно крестится.

– Как так запретили? – спрашивают.

– А так! От самого, может, царя, из самого Питенбурха! Ха, ха, ха, ха!

– От самого? Ей-богу? Да как же это?

– А вот так-то: услышали в Питере, что вот-де так и так: есть силач по имени Ферапонт Иванов, приказчик, – и крушит он на кулачках народ. Услышамши, сейчас приказ – пиши, говорит: «запрещаю я тебе, Ферапоша, на кулачный бой выходить и народ мой увечить. А ежели, говорит, ты удержи себе дать не можешь и биться по-прежнему станешь, так ты отпиши об этом в синат, я тебя тогда прикажу лютой смерти предать». Вот он какой указ-то царский! – в радости добавлял рассказчик, выбивая на грязный пол табачную золу из короткой деревянной трубки.

– А это, братец ты мой, чудесно, ежели он биться не станет. Поколотимся мы без него за первый сорт.

– Дело ведомое!

«Сам я беспрерменно такой же лютый буду! – по секрету

думал я сам с собою, валяясь на соломе дворовой избы. – Тоже я им тогда, как большой вырасту, в зубы-то пристально загляну».

Слушая такие разговоры, я чем больше вырастал, тем с большею любовью всматривался в смуглое и худощавое лицо отца, на котором всегда отражалась какая-то кроткая, но вместе с тем несокрушимая сила.

Все эти герои деревенских зимних вечеров, разбивавшие бесчисленные рати, опрокидывавшие сильных, могучих богатырей, представлялись моему тогдашнему пониманию маленько пожиже моего отца.

«Где ему?» – мысленно говорил я себе, всматриваясь в моего отца и представляя себе, как бы он громыхнул о мать – сыру землю самого Еруслана Лазаревича, могучий лик которого, сочиненный грудастым суздальцем, и теперь еще шевелит длинными усами в моей памяти. В младенческих и, следовательно, необъяснимо чутких ушах моих раздавался звон чешуйчатых богатырских лат, вдребезги разбитых кулаком моего отца, слышалось, как стонала сильная грудь Еруслана, смятая и раздробленная родной мне рукою...

Это очарование в непобедимых отеческих доблестях разрушил во мне наш помещик.

Часто мне приводилось видеть на барском дворе и просто на улице какое-то маленькое, белокурое существо, совершенно не похожее ни на одного из тех людей, которые уже успели промелькнуть в моих так еще мало видевших глазах.

При первом взгляде на это существо я дерзко засмеялся над ним.

– Чей это мальчишка? – спросило существо, сердито наморщивая свои белые тонкие брови.

– А это сынишка приказчика Ферапонта, – отрекомендовали меня белобрысому существу.

– Скажи-ка Ферапонту, чтобы он его выпорол хорошенько.

– Было бы за что! – ответил я. – Мой отец-то, думаешь, такая же кошка пареная, как ты?

За такую не по летам острую выходку меня тем не менее в самом деле выпороли. Процесс этот сопровождался со стороны отца приговариваниями, что разве можно барину грубости говорить, что с баринком когда в другой раз встретишься, так сними шапчонку-то да к ручке подойди.

– Пожалуйста, мол, барин, ручку поцеловать. Вот как!

В первый раз в это время мое младенчество покорилося жизненной необходимости, точно так же как в то же именно время меня посетило чувство ненависти и отвращения к людям. Рука, управляющая людьми, сочла, вероятно, этот момент моего возраста решительно удобным для того, чтобы перековать мою младенческую душу в душу человека, и перековала.

– За что ты меня сечешь? – корчась от стыда и боли, спрашивал я моего отца. – Я тебя люблю, а его не люблю, а ты меня за него сечешь?

Но тут впервые было отвергнуто, обругано и обещено мое настоящее, ничем не подкупное, человеческое чувство. Отец все продолжал сечь меня и читать свои наставления на тему, как надобно дворовому мальчишке обходиться с господами.

Под самой розгой как-то я успел задуматься о слове – дворовый мальчишка. Скорой молнией мелькнули тут в возбужденной голове моей какие-то новые, ни разу еще не посещавшие меня мысли. Какие-то странные, никогда не виданные мною предметы сверкнули в залитых слезами глазах моих, – что-то уродливое, в высшей степени изможденное и страдающее стало тогда предо мною, освещенное вывеской – дворовый, и плакало вместе со мною. Собака – дворовая, Агафью зовут дворовой, – думалось мне, и тут я вспомнил, как мы с матерью были в гостях у попа, и поп спрашивал про меня у матери:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.